

К. А. СВАСЬЯН
Освальд Шпенглер
и его реквием по Западу*

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.
И, глядявываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!
Александр Блок

1. Пророк в своем отечестве

История этой необыкновенной книги, с самого момента ее выхода в свет в мае 1918 года и вплоть до наших дней, оказалась историей обширных искажений и недоразумений. Головокружительный шедевр, не оставивший равнодушным ни одного из соприкоснувшихся с ним современников, от — в поперечном срезе — сколько-нибудь образованных обывателей до университетских профессоров и от — в срезе продольном — крупных промышленников до вершителей судеб эпохи¹, он по прошествии двух-трех десятилетий выглядел уже «шлаком», занявшим постылое место в историко-философских компиляциях². Теперь, из ретроспективы десятилетий, приходится выяснять, идет ли речь всего лишь о мощной сенсации с вполне естественным в этом случае эффектом скорейшего протрезвления или о чем-то гораздо более сложном, символическом, симптоматичном, как бы косвенно подтверждающем прогноз автора о ссыхании, упрощении, переходе в феллашество европейского человека, европейского, по меньшей мере, *читателя*. Казалось бы, вся совокупность факторов, от прихотей авторской воли до вполне предсказуемых читательских стереотипов, была и в самом деле обращена на то, чтобы упростить, опошлить и уже непоправимо извратить многосложные внутренние изломы этой «дерзкой, глубокой, филигранной, абсурдной, подстрекательской и великолепной» (Льюис Мэмфорд) книги. Скажем так: книги, диковинным образом сумевшей совместить в себе сенсационность и глубину, одинаково потакая как вкусам публики, так и метафизической ностальгии родственных душ, где автору, с одной стороны, доводилось получать письма вроде письма какой-то старой дамы, признававшей ему, что хотя она и не прочитала его книгу, но, возможно, он смог бы посоветовать ей, куда и как следовало бы ей теперь вложить свои ценные бумаги, и где, с другой стороны, «Закат Европы» мог быть оценен как «наиболее значительная философия истории со времен Гегеля»³. Полярность, что и говорить, достаточно резкая, тем более что реакция с обеих сторон вполне отвечала провокационному составу самой книги, мастерски мимикрирующей свою романтическую *немецкую* незащищенность вытянутым в струнку *прусским «стилем Гинденбург»*. Мы вправе, впрочем, предположить, что уже одна эта сенсационность, прилипшая к книге с первых же дней ее рождения и таки осквернившая ее налетом несмыслимой популярности, должна была бы насторожить

* Печатается по: *Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: В 2 т. М., 1993. С. 5–19.*

более вдумчивого и брезгливого читателя, следовавшего старому ницшевскому априори: «Общепринятые книги — всегда зловонные книги». Насторожить прежде всего самого автора, нищестанство которого, по крайней мере в этом пункте, граничило с патологичностью, во всяком случае с возможностью написать однажды (вчерне, про себя) такое: «Я всегда был аристократом. Ницше был мне понятен, прежде чем я вообще узнал о нем»⁴. Жалобы на популярность нередки у Шпенглера, но характерно, что они отлично уживаются в нем с явной волей к популярности; текст «Заката Европы», уже с титульного листа ставшего самым броским заглавием века, изобилует местами, сработанными на эффект, притом — что интереснее всего — отнюдь не всегда в ущерб содержанию; тут временами демонстрируется прямо-таки невероятное мастерство подавать утонченнейшие и по самой своей структуре рассчитанные на вкус редкого эрудита нюансы мысли в такой напористо-агитаторской манере; во всяком случае картина, типичная для тех лет, — Освальд Шпенглер, прогуливающийся с отрешенным видом по Швабингу, и студенты, благоговейно подталкивающие друг друга: «Вот идет Закат Европы!»⁵ — едва ли может быть списана на счет одних только студентов. Понять эту странную диалектику популярности и глубины без учета своеобразия самой эпохи, на фоне которой она разыгрывалась, было бы просто невозможно, и апелляция к упомянутому выше правилу Ницше, тем более что популярность самого Ницше переходила уже всякие границы, выглядела не больше чем очередной реминисценцией из старого доброго времени; привычные довоенные нормы культурно-духовной таксономичности лопались, как мыльные пузыри, в атмосфере воцаряющегося всеобщего хаоса, и если еще вчерашняя эсотерика могла уже вполне отвечать тематическому кругу газетных листков, позволяя любому фельетонисту горланить о том, что еще недавно только вышептывалось, то судить о водоразделе между популярностью и глубиной оказывалось занятием во всех смыслах непростым и неоднозначным. Благовония шпенглеровской книги, пришедшейся как нельзя вовремя и ставшей в каком-то отношении самой *своевременной* книгой эпохи, странным образом не выветривались фактом ее общепринятости; не будем забывать, что сложнейшая фактура «Заката Европы», рассчитанная *по существу* на крайне узкий круг понимания⁶, воспринималась на фоне полнейшего краха и передела прежней Европы и, стало быть, аудиторией если и мало что смыслившей в тонкостях контрапункта и теории групп, то самим строем своего апокалиптического быта вполне подготовленной к тому, чтобы *музыкально, инстинктивно, физиологически* различать на слух тысячеголосую полифонию аварийных сигналов, причудливо переплетающихся с щемяще-ностальгическими *adagio* в этой последней, может быть, книге *европейского* закала и размаха. Менялось уже само качество публики, влетевшей вдруг из столь ощутимой еще, столь размеренно-барской, «застойно»-викторианской эпохи в черные дыры эсхатологических «страхов и ужасов», когда безукоризненный метроном истории, по которому прилежно разыгрывались интеллектуальные *extemporalia* только что минувшего века, сорвался внезапно в такие ритмические непредвиденности, что не потерять голову (в обоих смыслах: физическом и в том, что «*после физики*») решительно выходило за рамки компетенции самой головы. Нам придется, хотим мы того или нет, вживаться в атмосферу «*жизненного мира*» шпенглеровской книги, придется так или иначе раскавычивать «Закат Европы» и предварять свое прочтение книги не *post factum* ее, а *ante factum*, в факте ее еще-не-написанности, но уже-переживаемости; к чему нам иначе читать ее! И если зловещие предсказания ее еще не полностью сбылись, если мы не окончательно предпочли еще лирике технику и живописи военно-морское дело, как не без упоенно-самоубийственного надрыва советовала нам эта книга, если, стало быть, мы не совсем еще утратили частоты восприятия, на которых только и берутся сокровеннейшие ее сигналы — *инфракрасные* и *ультрафиолетовые* ее лучи, — то нам удастся, пожалуй, схватить ее в единственно адекватных предпосылках ее возникновения: в точке пересечения роковых событий истории с интимнейшими причудами одинокой души. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока...» (1 Кор 15, 51—52). Очень редкий

случай, когда можно было календарно датировать это мгновение; в автобиографических набросках Шпенглера оно зафиксировано со всей торжественностью, подобающей моменту: «Сегодня, в величайший день мировой истории, который приходится на мою жизнь и столь властно связан с идеей, ради которой я родился, 1 августа 1914 года, я в одиночестве сижу дома. Никто и не думает обо мне»⁷. Эйфорическая уязвленность человека, уже с головой ушедшего в *свою книгу* и прогнозирующего *все последствия* этого дня, может быть, самого необыкновенного из всех дней, пережитых Европой; если допустимо применить к истории понятие инфаркта, то день этот следовало бы назвать *обширным инфарктом* прежней Европы, после которого — излеченная на американский лад: в 14 пунктах программы Вильсона или уже впоследствии (после «второго удара») в плане Маршалла — она была уже решительно *не та*. Вдруг, в мгновение ока, распалась связь времен, и начался новый век «*вывихнутого времени*» в точном гамлетовско-эйнштейновском смысле слова, настолько вывихнутого, что уже в перспективе десятилетий разрыв между настоящим и прошлым будет психологически исчисляться десятками тысяч лет, словно бы речь шла не просто о политических и социальных катастрофах, а о естественноисторических катаклизмах; век воплощенных небылиц, которые и не снились никакому утописту, решительно невообразимых экспериментов, равно возможных в лабораториях и... в жизни; рискнем же на такой вот гипотетический эксперимент: попробуем представить себе случившееся из прошлого столетия глазами любого из мастеров и ясновидцев бреда — Гофмана, По, Гоголя, Лотреамона, Стриндберга, кого угодно. Вопрос: кто бы из них смог вообразить себе *такое*? То, что жанр будущей трагедии будет котироваться не «ужасом и состраданием», а голой *статистикой*, чистыми и самообъяснимыми столбцами цифр, предвидел еще Достоевский. 100 миллионов жизней — он угадал эту круглую сумму, в которую должен был обойтись земной рай. Возможно, его догадка шла глубже, и он предчувствовал даже, что дело не в этой именно сумме, которая могла быть и удесятеренной, а в самой идее *открытого счета на жизнь*, где неограниченным *кредитором* выступала сама *смерть* и где демографическая проблема представляла, таким образом, в двойной бухгалтерии перенаселенности не только

планеты, но и загробного мира: в конкурирующем перепроизводстве как живых, так и мертвых масс. Допустим же, что это действительно могло быть угадано; но какое перо взялось бы описать, с какой легкостью и быстротой пришлось будущему человечеству привыкать ко всему происходящему; уже в начале 20-х годов Шпенглер мог безошибочно констатировать удивительный выверт психики: «Мы за немногие годы научились почти не обращать внимания на события, которые до войны парализовали бы мир. Кто нынче думает серьезно о миллионах погибающих в России?»⁸ Еще раз: умирали не все, хотя счет и был открыт на всех, но все *изменились*; от возвещенной Ницше «*смерти Бога*» оставался один лишь шаг к *онтологии нигилизма* и *вседозволенности*: если «*Бог мертв*», значит, «*все позволено*», а если «*все позволено*», значит, «*все возможно*» — в этот бесхитростный сорит целиком умещался наступающий век, и дело сводилось лишь к частностям конкретизации. Возможным «*во мгновение ока*» стало решительно *всё*, как будто странный, эпатажирующе-сумасбродный наказ Заратустры «*танцевать поверх самих себя*» (ну конечно же, очередная «*поэтическая*» выходка на фоне респектабельно-научных «*что делать*» Спенсера и профессора Карпентера) стал вдруг самопервейшей *практической* заповедью быта, предназначенной для той самой публики, которая еще вчера твердо знала, что можно и чего нельзя танцевать — к слову, можно «*кадриль*» и нельзя, скажем, «*апельсин*», — и которая уже сегодня вынуждена была бы посчитаться с тем, что станцевать, да, можно и апельсин (в XV сонете 1-й части «Сонетов к Орфею» Рильке). Менялись, говоря еще раз словами апостола, «*мозги и составы*»; картезианско-кантовская модель XIX столетия, заставлявшая таки действительность послушно следовать за мыслью, наполняла мысль ощущением такого всемогущества, что век, открывшийся надменной грезой Лапласа свести Вселенную в систему одновременных

дифференциальных уравнений, должен был естественно заканчиваться самоупоенным проектом возведения *«хрустального дворца»*. Отдельные — повторим это слово — выходы не шли в счет; каждому веку приходилось так или иначе терпеть своих *«Франсуа Вийонов»*, беспризорников мысли и иждивенцев ее *«прогресса»*, одержимых, казалось бы, единственной страстью: открыть *«седьмую дверь»*. Читатель викторианской эпохи был беспощаден в своих приговорах, да и сами приговоры, за вычетом отдельных атавизмов вроде призыва небезызвестного норвежского критика высечь розгами Генрика Ибсена, вполне отвечали либеральному духу времени: вместо мрачных инквизиционных судилищ достаточными оказывались услужливо научные заключения, состряпанные в духе Ломброзо, Нордау или Германа Тюрка: о клинической невменяемости этого рода писателей и художников. Благополучие века требовало гарантий своего благополучия, и за довольным смешком обывателя над сумасшедшим гением⁹ оставались незамеченными выпирающие симптомы будущей сумасшедше-гениальной действительности, провиденные Ницше: «Ах, если бы вы знали, как недалеко, как близко уже то время, когда будет иначе!»¹⁰ Ибо происходило невероятное, более невероятное, чем могло бы вообразиться самому безответственному любосластцу парадоксов: еще при жизни этих писателей на свет стали рождаться их герои, и притом в такой густой статистике, что из ретроспективы уже 20-х, 30-х годов будущего века можно было бы с большей или меньшей математической вероятностью определить количество, скажем, российских бесов, народившихся в год выхода в свет романа *«Бесы»*, или бесов германских, метрика которых совпадала бы с периодом работы над фрагментами книги, скомпонованной и опубликованной впоследствии под заглавием *«Воля к власти»*. Вчерашние изгои и психопаты, сегодня они уже задавали тон, ибо сегодняшняя действительность оказывалась всего лишь дотошно скопированной с их вчерашних *«поэтических»* и *«беллетристических»*, в целом невменяемых выходов, на деле, только прогнозов, прямо предсказывающих ближайшие неслыханные перемены и выкрикивающих на все лады глас вопиющего в пустыне Предтечи: *«Переменитесь!»* *«Закат Европы»* уже со всеми жесткими обертонами немецкого *Untergang*, включающего гибель, крушение, светопреставление, был в этом смысле обычной констатацией повсеместно *переживаемого* факта; почва ускользала решительно из-под всех ног, являя полный разгул расфантазированной действительности, за которой тщетно теперь пыталась угнаться мысль. Читательский вкус конца века, настоянный на строго размежеванных жанрах творчества и типах мировоззрения, должен был мучительно привыкать ко всем формам творческого и мировоззренческого промискуитета, притом что прежние твёрдые правила классификации и таксономии выглядели до смешного неуместными в попытках как-то справиться с буйством гибридов, прорастающих на ниве культурного творчества, от искусства и науки до философии, богословия, политики, чего угодно. Возможно, в хаотических, расвирепевших судьбах века не последнюю роль сыграло это тупоупрямое нежелание считаться с реалиями и стремление подогнать их под привычные правила старого доброго времени, когда можно еще было спокойно отличать фантастическое от реального... Теперь уже *реалистами* приходилось становиться *всем*, ибо чем же, как не отчаянными потугами дотянуться до самой реальности и, стало быть, только разновидностями *нового реализма*, были все эти футуризмы, кубизмы и экспрессионизмы, талантливо или бездарно воспроизводящие в символах то именно, с чем на каждом шагу сталкивался обыватель в реалиях социальных или экономических потрясений, что, следовательно, перешло уже из измерения фантазии в зону точных наук, быта, самой жизни, этой представшей вдруг воочию сущей *bête noire hoffmannesque et gogolesque*, которую оставалось лишь срисовывать с натуры, чтобы явить ошеломленному глазу вполне натуральный бедлам вчерашних незыблемых твердынь. Еще раз: все вдруг стало возможным в мире, где младенческий лепет дадаиста точнее копировал действительность, чем толстенные романы иных патриархов реализма, и где строгие математические формулы посрамляли по степени заноса любую заумь и сюрреалистические манифесты,— в

мире, где атеистов, рожденных после Достоевского, Константина Леонтьева и Ницше, мог «мучить Бог», а теологам вполне сходило с рук устраивание публичных диспутов на тему: «Жил ли Иисус?»¹¹, сходило с рук и не такое — я беру предельный случай, когда слышущий величайшим теологом века Карл Барт мог находить «конструктивную идею» и вклад в «решение социального вопроса»... в сталинизме (разумеется, с противопоставлением его «сатанинскому» гитлеризму!)¹² и признаваться 5 марта 1953 года своим студентам, что он «годами, и особенно в течение последних недель, молился за Сталина»¹³. Что ж, почва, ускользающая из-под всех ног, не сделала исключения и для «величайшего теолога», и мы уже не удивимся, обнаружив уникально засвидетельствованный алгоритм всех подобного рода казусов в методологической цитадели *научного рационализма*, который, спасая себя, а заодно и вверенные ему смежные доминионы богословия и вообще научности, оказался способным на захватывающее *salto immortale* — из мира вчерашних каузальностей в атмосферу волшебных сказок: отношение к «объектам», традиционно определявшееся здесь вполне рациональной установкой на «как», он счел возможным заменить новой установкой, едва ли уже отличающейся от самых непредсказуемых напастей театра Антонена Арто: «а почему бы нет»¹⁴. Ну чем же не «поэтическая» — впрочем, уже и «научная», «теологическая», какая угодно — выходка: а почему бы Карлу Барту не помолиться за здоровье Сталина? Поэт, чувствуя почву, уходящую из-под ног, запутался бы все же иначе: с большим тактом по отношению к смыслу и с большей прозорливостью — ну, скажем, так:

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
(О. Мандельштам)

Сенсационность «Заката Европы» на этом фоне могла, что и говорить, вполне уживаться с нелегкостью его прочтения. Другой вопрос, во что вылилась эта столь необычная уживчивость; если мы отвлечемся от аспекта популярности шпенглеровской книги, то шкала оценок окажется отнюдь не столь однозначной, хотя едва ли можно будет назвать еще одну книгу, которая вызвала бы такое дружное смятение среди — скажем это слово при всех скидках на его вопиющую неуместность — «коллег». Ситуация действительно выглядела вопиющей: в ученой Германии можно было бы представить себе что угодно, но только не внезапность, с которой этот неизвестно откуда взявшийся самозванец одолел неприступнейшие твердыни самой сакраментальной зоны немецкой мысли: *философии культуры*. Скучные биографические справки, наведенные уже потом, *ex post facto*, лишь разожгли скандальность случившегося; речь шла всего-навсего о бывшем гимназическом учителе, литературная карьера которого сводилась до сих пор к десятку газетных статей, сущих безделушек на тему «немецких и французских карикатур», «импрессионизма» или «берлинской фарфоровой мануфактуры». Некоторого рода компенсацией могла бы, пожалуй, служить промовированная в 1904 году у Алоиса Рилия докторская диссертация о Гераклите, если бы не стало известно, что устный экзамен, так называемый *Rigorosum*, был оценен на *rite* (удовлетворительно) лишь со второй попытки — характерный штрих: экзаменатор отметил недопустимо малое количество цитат из специальной литературы. Была, правда, еще одна официальная работа, сданная наряду с «Гераклитом» к государственному экзамену, — «Развитие зрительного органа на высших стадиях животного царства», но и она едва ли спасала положение. Словом, ничто в этом человеке не предвещало того, что в один прекрасный день он займется на подиуме немецкой философии и станет, по язвительному выражению Адорно, «отчитывать ее, как фельдфебель одногодичника-добровольца»¹⁵; этокое пренебрежительно-надменное *veni-vidi-vici* самоуверенного автодидакта, оптом списывающего за негодностью весь факультет ошеломленных «коллег» и провозглашающего себя Коперником исторической

науки, при, надо полагать, психологически подразумеваемой скидке на все еще скромность данного сравнения. Об ответной реакции гадать не приходится; что оскорбляло больше всего, так это высокомерно-недифференцированная манера (отработанная конечно же на классическом в этом отношении полигоне ницшевских текстов) оптового третирования умов, притом умов любого калибра — идеологически разных, вдобавок ко всему даже не знаемых, не прочитанных, в лучшем случае удостоенных беглого «физиогномического» взгляда. Шпенглер — мастер ювелирного жеста, демонстрирующий местами головокружительное умение жонглировать фарфором без единого осколка — оборачивается тут неким «*gиппопотамом*» критики (если слово «критика» вообще уместно в данном случае), предпочитающим работать большими «площадями» давления, предварительно подгоняя под себя несовместимый по обычным меркам материал. Примеров более чем достаточно. Требуется, скажем, дать оценку современным философам, при условии: захватить как можно больше «площади» и затратить как можно меньше времени и сил (ну прямо какой-то инженерный расчет!). Что «современные философы» — реалья донельзя дифференцированная и требующая как раз максимума времени и сил — это здесь меньше всего принимается во внимание. Спрашивается: есть ли такой алгоритм, в котором разом уместились бы все «современные философы», все равно — материалисты или идеалисты, позитивисты или интуитивисты, неокантианцы, неогегельянцы или неофихтеанцы. У Шпенглера их с дюжину. Кто, восклицает он, из нынешних ученых способен выказать хоть какой-то толк в понимании великих хозяйственных вопросов эпохи: финансовых сделок, трансконтинентальных путей, машинной индустрии? Кто — по новому кругу — в силах осмыслить социальные и политические потрясения эпохи: мировую войну, перекройку карты мира, русский вопрос? Кто — модулируя в новую тональность — владеет корпусом знаний хотя бы своего времени? Есть ли среди них хоть один *математик* большого стиля? Инженер? Банкир? Государственный муж? Дальше в ход идут сплошные козыри: досократики, которые были «*купцами*», «*политик*» Платон, «*министр*» Конфуций, Лейбниц, пишущий меморандум французскому королю, Гёте, интересующийся Панамским каналом... Ну вот и попробуйте теперь под таким прессом различить Гербарта и Лотце, Спенсера и Эйкена, тех, у которых «*первичен дух*», и тех, у кого «*первична материя*»/ Нетрудно догадаться, что ответный удар критики предполагал аналогичную степень недифференцированности; речь шла уже не только о *point d'honneur* факультета, но и о задетом самолюбии вообще «современников»: правых и левых, верующих и неверующих, идеологов и богемной братии. «Ренегат духа, подрубающий сук, на котором сам же сидит» — от этой сдержанной еще оценки Фридриха Мейнеке¹⁷ до каких только полемических яростей не доходил спор вокруг Шпенглера! Обвинения в популизме, некомпетентности, шарлатанстве сыпались со всех сторон. Отто Нейрат, глава «Венского кружка» позитивистов, выпустил в свет книгу «*Анти-Шпенглер*»; философ Леонард Нельсон злобно потешался над автором «*Заката Европы*» в целом трактате, ядовитость которого сочилась уже с заглавия: «*Нечистая сила. Посвящение в тайну искусства ворожбы Освальда Шпенглера и ясное, как солнце, доказательство неопровержимости его пророчеств вкупе с лептой, внесенной в физиогномику духа времени. Дар, ниспосланный для всех адептов метафизического созерцания в Троицын день*». Семь видных немецких профессоров¹⁸ — «*семеро против Фив*» — учиняют настоящее дознание шпенглеровской эрудиции (читай: дилетантизма) в специальном выпуске — «*Spenglerheft*» — уважаемого международного «Логоса» за 1920—1921 годы. Для Томаса Манна речь идет всего лишь об «умной обезьяне Ницше»¹⁹. «Кем возомнил себя этот грошовый гипсовый Наполеон?» — огрызается Курт Тухольский²⁰. Герман Брох раздраженно отмахивается от шпенглеровской «невежественной заносчивости»²¹. Своего рода апогея достигла эта неприязнь у марксистов. Вальтер Беньямин, спрошенный о своем отношении к Шпенглеру, не идет уже дальше ядовитой слюны: «Какого я о нем мнения? Тривиальный паршивый пес»²², а в незакомплексованно вульгарных анализах Лукача этой

ядовитости придается концептуальный вид: здесь уже речь идет о «паразитической интеллигенции империалистического периода»²³. Жаргон более чем знакомый, увенчанный в недалеком будущем таким вот перлом ученого шмаротцера из бывшей ГДР: «Ультрареакционный буржуазный социализм Шпенглера отвечал хищническим интересам немецкой монополистической буржуазии, в чем и следует искать последнюю причину нового повышения ставок Освальда Шпенглера в западногерманском позднекапиталистическом обществе»²⁴. «*Фаустовской душе*» — сверх самых, пожалуй, мрачных прогнозов автора «Заката Европы» — пришлось-таки дожить и до такого самовыражения.

Параллельно с критикой и бранью шли обвинения в плагиате. Курт Брейзиг, берлинский философ истории, возмущенно оспаривал оригинальность шпенглеровского членения истории на культурно-исторические фазы, ссылаясь на свою разработку этих идей, датированную 1905 годом²⁵. Вопрос о «*приоритете*» поднял и Фердинанд Тённис, крупнейший немецкий социолог, усмотревший в шпенглеровской дихотомии «культура—цивилизация» прямое воспроизведение своих мыслей из книги «Община и общество», увидевшей свет в 1887 году²⁶. Количество предполагаемых или явных «*предшественников*» набирало такой темп, что, казалось бы, в книге Шпенглера не должно было остаться ни одной девственной страницы; счет шел уже на десятки авторов, среди которых фигурировали Гердер, Гегель, Шеллинг, Буркхардт, Дильтей, Лампрехт, Фольграфф, В. Г. Риль, Эрнст фон Ласо, Бергсон, Клагес, Теодор Лессинг, Х. Ст. Чемберлен, Макс Вебер, Зомбарт и уже во «втором ряду»: Гиббон, Монтескьё, «Спор древних и новых», и дальше: Жан Боден, Макиавелли; аппетит разыгрался до араба Ибн-Хальдуна, набросавшего в XIV веке морфологию исламской культуры, и уже до самого Полибия. Бенедетто Кроче сумел выудить из всего Шпенглера только то, что он эпигон Вико²⁷; любители сюрпризов подставляли вместо Вико русских Данилевского и Константина Леонтьева²⁸, «*шпенглеризм*» которых бросалось в глаза; то, что немецкий перевод книги Данилевского вышел в 1920 году и, значит, уже после «Заката Европы», мало кого волновало, но то, что сам Данилевский был обязан своими «*шпенглеризмами*» немецкому историку Генриху Рюккерту, автору «Учебника мировой истории в органическом изложении» (1857)²⁹, — это открывало уже беспрепятственный выход не только на Ибн-Хальдуна, но и — почему бы нет? — на халдейских магов. Таким вот способом квитались «*коллеги*» со спесивцем, сузившим круг своих предшественников только до *Гёте* и *Ницше* (с видами на Лейбница и Гераклита³⁰). И дело вовсе не в том, что среди параллелей натянутые и даже притянутые за уши фигурируют наряду с явными и почти буквальными³¹; в каком-то смысле и этот детективно-филологический азарт должен был свидетельствовать о творческой бесплодности эпохи, т. е. все еще лить воду на шпенглеровскую мельницу. Здесь как нельзя кстати пришла бы оценка Гёте, столкнувшегося с аналогичной ситуацией: «Немцы никак не могут избавиться от филистерства. Сейчас они затеяли отчаянную возню и споры вокруг нескольких двусишней, которые напечатаны в собрании сочинений Шиллера и в моем тоже, полагая, что невесть как важно с полной точностью установить, какие же написаны Шиллером, а какие мною. Можно подумать, что от этого что-то зависит или кому-нибудь приносит выгоду, а по-моему, достаточно того, что они существуют... Право, надо очень уж глубоко увязнуть в филистерстве, чтобы придавать хоть малейшее значение таким вопросам» (Эккерман, 16 декабря 1828 года). Сам Шпенглер, впрочем, закрывал вопрос иначе. «Мне пришлось на этот лад, — писал он своему издателю Оскару Беку, — познакомиться с более чем пятьюдесятью предшественниками, включая Лампрехта, Дильтея и даже Бергсона. Число их тем временем должно было перевалить далеко за сотню. Если бы мне вздумалось прочитать хоть половину этого, я и сегодня еще не подошел бы к концу... Гёте и Ницше — вот те два мыслителя, зависимость от которых я чувствую наверняка. Тому, кто откапывает «предшественников» за последние двадцать лет, и в голову не приходит, что все эти мысли, и притом в гораздо более предвосхищающей редакции, содержатся уже

в прозе и письмах Гёте, как, скажем, последовательность ранней эпохи, поздней эпохи и цивилизации в маленькой статье «Духовные эпохи», и что сегодня вообще невозможно высказать чего-либо такого, что не было бы затронуто в посмертных томах Ницше»³².

Через все это или уже вопреки всему этому «Закат Европы» продолжал оставаться самой громкой и необыкновенной сенсацией века. Даже в академических кругах не приходилось говорить об однозначности отношения: отрицательные суждения Ф. Мейнеке, Э. Трельча или О. Хинтце хоть в какой-то мере притуплялись положительными оценками А. фон Гарнака и Э. Мейера. Тем более разыгрывался восторг за пределами академической науки. Вопрос о влиянии Шпенглера своеобразно имитировал вопрос о влиянии на Шпенглера: во всяком случае анализ первой темы потребовал бы не меньших усилий, чем этого требовал анализ второй; Шпенглер, скажем так, замалчивался и замалчивается не меньше, чем замалчивал он сам. Результат его интуиций, зачастую беглых и торопливых, зафиксированных с гениальной небрежностью штриха, очевиден в столь многих и столь различных концепциях последующих десятилетий, что выявление параллелей могло бы оказаться темой специальной работы. От явных кровно-метафизических связей, скажем, у Ортеги-и-Гасета (кстати, издавшего «Закат Европы» на испанском языке), от незамаскированных реминисценций в трудах П. Сорокина, А. Тойнби, Л. Мамфорда, Й. Хейзинги, Э. Юнгера, Р. Арона, от уже мимолетной признательности, оброненной Витгенштейном³³, до вольных или невольных ассоциаций у Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-Понти, Фуко, Томаса Куна, Фернана Броделя, Башляра, Хоркхеймера, Адорно, Маркузе и т. д.³⁴ несомненным предстает одно: эта книга, огромным кроваво-красным заревом полыхнувшая однажды на культурном небосклоне Европы, закатится, пожалуй, не раньше самой Европы. Можно допустить, что рационалистическая ученость века учинила бы ей более радушный прием, сумей автор (гипотеза столь же нелепая, сколь и безвкусная) подчинить свой равняющийся на душу стиль более собранной концептуальной форме изложения и заменить, скажем, шокирующе-маргинальное заглавие книги «вполне приличным» ее подзаголовком: вместо «Заката Европы» просто «Очерки морфологии мировой истории». Тогда он, возможно, дотянул бы и до профессуры — фаустовский человек в редакции не Гёте и Рембрандта, а берлинского академика Дюбуа-Реймона, отрезающий себе выход ко второй части — к Матерям, Елене, новой Вальпургиевой ночи и просветленной трагике финала — женитьбой на Гретхен и окладом университетского профессора. Спор вокруг Шпенглера касался, очевидно, именно этой призрачной фигуры, из которой «коллегам» удалось вычитать ровно столько, сколько требовала этого профессиональная табель о рангах; надо было во что бы то ни стало выяснить, был ли автор «Заката Европы» эпигоном, дилетантом, поэтом, шарлатаном или гением, но бесспорным во всем этом гаме оказывалось одно: он был пророком, принятым именно в своем отечестве.

Примечания

¹ Скажем, Муссолини и Ленина, хотя и с диаметрально противоположными эффектами воздействия, где восторг итальянского вождя уравновешивался гневом вождя советского, настолько нешуточным, что именно книга статей Бердяева, Букшпана, Степуна и Франка, вышедшая в 1922 году под заглавием «Освальд Шпенглер и Закат Европы», послужила последней каплей в чаше терпения вождя, распорядившегося выслать за границу строптивую профессуру.

² Любопытная статистика: библиография работ о Шпенглере в Германии в промежутке между 1921 — 1925 годами насчитывает 35 наименований. В следующее пятилетие число их сокращается до пяти. Затем с 1931 по 1935 год — период, отмеченный травлей Шпенглера нацистами в связи с его книгой «Годы решения», — появляется девять работ, а с 1936 по 1940 год — снова пять. См.: *Merlio G. Oswald Spengler. Temoin de son temps. Stuttgart, 1982. P. 7.* В послевоенное время картина значительно ухудшилась, и лишь в 60-е годы благодаря усилиям Антона Мирко Коктанека, опубликовавшего переписку Шпенглера и некоторые материалы из наследия вместе с прекрасным биографическим исследованием, которое и по сей день остается уникальным по охвату материала

и глубине его освоения (*Koktanek A. M. Oswald Spengler in seiner Zeit. München, 1968*), можно было бы говорить о некотором оживлении интереса, впрочем достаточно спорадического и эфемерного, как это видно уже по ситуации 80-х годов.

³ Мнение Георга Зиммеля, успевшего незадолго до смерти прочитать 1-й том, Шпенглер не без гордости цитирует эту фразу. См.: *Spengler O. Briefe 1913—1936. München, 1963. S. 131.*

⁴ Из неопубликованных автобиографических заметок, озаглавленных «Eis heauton» (К самому себе). См.: *Koktanek A. M. Op. cit. S. 53.*

⁵ *Feiken D. Oswald Spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich und Diktatur. München, 1988. S. 135.*

⁶ Пауль Порбах, признававшийся в связи с 1-м томом, что ему недостает органа восприятия для этой философии, иронически вопрошал по выходе в свет 2-го тома: «Нужно ли и для этого предварительно изучить контрапункт и анализ?» (*Spengler O. Briefe. S. 105.*)

⁷ *Naeher J. Oswald Spengler. Reinbeck, 1984. S. 51f.*

⁸ *Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. München, 1924. Bd 2. S. 535.*

⁹ Тип эпохи всеобщего равенства, невыносимо метко зафиксированный Фридрихом Геббелем: «Некто, у которого перед Мадонной Рафаэля на уме лишь одно: гляди-ка, и у нее есть ребенок» (*Hebbels Werke. T. 9. Tagebücher II / Hrsg. von Th. Poppe. Berlin, o.J.S.414.*)

¹⁰ *Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 339.*

¹¹ «Hat Jesus gelebt?»: в Берлине в 1910 году с развешиванием афиш и при участии популярнейших пасторов.

¹² *Barth K. Die Kirche zwischen Ost und West//Der Götze wackelt. Zeitkritische Aufsätze, Reden und Briefe. Berlin, 1961. S. 137.*

¹³ *Marquardt F. W. Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths. München, 1972. S. 69.*

¹⁴ Так формулирует это Гастон Башляр: «За прежней философией «как» в сфере научной философии появляется философия «а почему бы нет»» (*Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. С. 32.*)

¹⁵ *Adorno Th. W. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt/M., 1969. S. 53.*

¹⁶ Список цитируемых авторов в обоих томах «Заката Европы» ограничен именами исключительно *специалистов* в области филологии, археологии, египтологии, иранистики, арабистики и т. д., поставляющих *материал* для архитектурных замыслов автора — совсем по модели Фюстель де Куланжа: *век анализа на день синтеза* — и играющих, стало быть, чисто «служебную» роль в композиции книги. «Концептуальные» авторы, собственно «коллеги», за вычетом, пожалуй, глубоко почитаемого Эдуарда Мейера, крупнейшего историка древнего мира, и нескольких спорадических упоминаний еще двух-трех современников (Гарнака, Зомбарта, Трёлльча), обойдены здесь однозначным молчанием.

¹⁷ *Meinecke F. Über Spenglers Geschichtsbetrachtung. Werke. Bd 4. Stuttgart, 1959. S. 183.*

¹⁸ Густав Бекинг, Людвиг Курциус, Эрих Франк, Карл Йоэль, Эдмунд Метцгер, Эдуард Шварц, Вильгельм Шпигельберг.

¹⁹ *Mann Th. Briefe 1889—1936. Frankfurt/M., 1962. S. 202.* Любопытно отметить, что поначалу Шпенглер воспринимался Манном как «великая находка, которая, должно быть, составит эпоху» в его жизни (*Mann Th. Tagebücher 1918—1921. Frankfurt/M., 1979. S. 274.*) Здесь не место доискиваться до причин, вызвавших столь крутую переоценку; вполне достаточно было бы узнать мнение самого Шпенглера о «братях», чтобы ощутить ситуацию как своеобразный квит: «Вся сентиментальность у Томаса Манна оттого и выглядит столь лживой, что корни ее все еще торчат в романтической беллетристике. Он рассказывает мнимо современные сюжеты, но с абсолютно устаревшим содержанием (чувствительность бидермейера или Гейне, спроецированная на гомосексуальную атмосферу большого города)» (*Spengler O. Briefe. S. 24.*) И уже вообще убийственная оценка Генриха: «У этого Манна ничего подлинного, ничего оригинального, ничего немецкого. Или скорее: подлинна для него сама неподлинность, а подражание — его прирожденная оригинальность» (*Merlio G. Oswald Spengler. Témoin de son temps. P. 249.*) Ниже я попытаюсь разъяснить подоплеку странно отрицательного или настороженного отношения к Шпенглеру со стороны именно писателей.

²⁰ *Tucholsky K. Gesammelte Werke. Bd 9. Reinbeck, 1975. S. 225.*

²¹ *Broch H. Briefe. Bd 13/I. Frankfurt/M., 1981. S. 44.*

²² *Kraft W. Über Benjamin. In: Zur Aktualität Walter Benjamins. Frankfurt/M., 1972. S. 66.*

²³ *Lucács G. Von Nietzsche zu Hitler. Frankfurt/M., 1966. S. 158.*

²⁴ Цит. по: *Felken D. Oswald Spengler...* S. 244. Любопытно, что западногерманский министр внутренних дел Герхард Шрёдер еще в 1954 году предостерегал от пагубного влияния шпенглеровских идей в связи с изобретением атомной бомбы. Податься, как видим, было некуда.

²⁵ В книге «*Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte*», где к названным фазам прилагаются уже органические концепты детства, юности, зрелости и старости. Отто Нейрат в свою очередь называет наряду с Брейзигом и Франца Мюллер-Лейера, автора книги «*Phasen der Kultur*». См.: *Neurath O. Anti-Spengler. München, 1921. S. 27.*

²⁶ *Tonnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Leipzig, 1887.* Эта параллель обстоятельно рассмотрена французским исследователем Ж. Мерлио. См.: *Merlio G. Oswald Spengler. Témoin de son temps. P. 434—441.*

²⁷ В необыкновенно плоской рецензии на 1-й том «*Заката*». См.: *Croce B. Il tramonto dell'Occidente. In: L'Italia dal 1914—1918. Pagine sulla guerra. Bari, 1965. P. 312—317.*

²⁸ «*Россию и Европу*» (1869) и «*Византизм и славянство*» (1875).

²⁹ На что обратил внимание Вл. Соловьев. См.: *Соловьев В. С. Немецкий подлинник и русский список. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 561—591.*

³⁰ Из современников на Вальтера Ратенау, причем — невероятный для Шпенглера случай — с открытым изъявлением восторга и благодарности. См. письмо от 11 мая 1918 года, отправленное Ратенау вместе с 1-м томом «*Заката Европы*»: «Надеясь узнать мнение в высшей степени практического ума об этой в сущности абстрактной системе мыслей, я хочу вместе с тем и в первую очередь выразить Вам благодарность за Ваши сочинения «*К критике эпохи*» и «*О грядущих вещах*», имевшие и продолжающие иметь для меня величайшее значение в плане более глубокого понимания кризиса современности. Как бы далеко ни отстояли Ваши конкретные рассуждения от вынужденно метафизической ориентации философии истории, от Вас тем не менее не ускользнут при просматривании этой книги неоднократные точки соприкосновения с обеими Вашими названными работами» (*Spengler O, Briefe. S. 101*).

³¹ Настолько буквральными, что Пьетро Росси, итальянский исследователь немецкой исторической науки, не удержался даже от довольно бестактной гипотезы о том, что Шпенглеру были известны труды Дильтея, хотя он и не признавался в этом. См.: *Rossi P. Lo storicismo tedesco contemporaneo. Torino, 1956. P. 390.*

³² Уместно было бы напомнить в этой связи классическую формулу Паскаля: «Пусть не говорят, что я не сказал ничего нового: нова сама диспозиция материала; когда играют в мяч, то пользуются одним и тем же мячом, только один бросает его лучше, чем другой» (*Pascal. Pensées / Ed. par J. Chevalier. Paris, 1962. P. 38*). Любопытно, что Брейзиг или Тённис, обнаружив свои мысли у Шпенглера, почему-то не заметили их у Шеллинга. В конце концов все сводится к простому эксперименту: зачеркнем на книге, озаглавленной «*Закат Европы*», имя Шпенглера и заменим его любым, по усмотрению обвинителей, из списка «*предшественников*», ну хотя бы того же Вико, как этого хотел бы Кроче,— эффект абсурдности будет полным. Дело не в повторении идей цикличности, органичности исторического процесса или уже каких угодно, а в том, что Шпенглер просто «*бросал*» лучше, и притом забил-таки решающий мяч.